

Риккардо Николози

ДЕГЕНЕРАТЫ ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН И ДИСКУРС ВЫРОЖДЕНИЯ XIX ВЕКА

Дискурс дегенерации представляет собой широкое поле для наблюдений и анализа взаимоотношений тела и души в психиатрии. Теоретические основы этого дискурса, определившего во второй половине XIX века направление развития психиатрической науки, по-новому освещают проблему соотношения телесного и духовного при психических заболеваниях – недугах, преимущественно обнаруживших признаки вырождения. Основным источником психических расстройств полагалась наследственность. Старое представление о телесности, служившее долгое время определяющим, но поставленное под сомнение в конце XVIII века, было при этом по новому осмыслено, и соответственно, отчасти реабилитировано. Основной акцент ставится отныне на генетике, т.е. наследственной предрасположенности, узнаваемой по телесным и душевным отклонениям – «стигматам», а критериями, позволяющими выделять новый человеческий подвид – дегенерата – служит не только родословное древо, но и физические характеристики отдельного индивида. Знаменитые портреты преступников, собранные основателем криминальной антропологии Чезаре Ломброзо, подтверждали самым наглядным образом общепризнаваемую в то время связь физических и психических свойств человека. Считалось, что эта классификация «вырожденческих» физиогномических проявлений позволяет идентифицировать «прирожденного преступника». Так внешние проявления дегенерации связываются с причинно-следственным взаимодействием телесных и душевных отклонений.

Натурализм и декаденство сделали проблему дегенерации основной темой европейской литературы, темой, определившей новые особенности *milieuroman* и семейного романа. Применительно к русской литературе вопрос о значении теории дегенерации еще не достаточно прояснен. Особенно это касается связи между литературной (прежде всего – реалистической) репрезентацией различного рода отклонений с собственно научной теорией дегенерации. Настоящая статья представляет собой предварительный опыт подобного анализа на примере романа Салтыкова-Щедрина *Господа Головлевы*.

I.

Незадолго до трагического эпилога романа *Господа Головлевы* (1875–1880), Салтыков-Щедрин добавляет вложенный в уста автора комментарий, по особенному высвечивающий судьбу описываемой им семьи:

Но наряду с удачливыми семьями существует великое множество и таких, представителями которых домашние пенаты с самой колыбели ничего, повидимому, не дарят, кроме безвыходного злополучия. Вдруг, словно вша, нападает на семью не то невзгода, не то порок и начинает со всех сторон есть. Расползается по всему организму, покрывается в самую сердцевину и точит поколение за поколением. Появляются коллекции слабосильных людишек, пьяниц, мелких развратников, бессмысленных празднолюбцев и вообще неудачников. И чем дальше, тем мельче вырабатываются людишки, пока, наконец, на сцену не выходят худосочные зауморыши, вроде однажды уже изображенных мною Головлят, зауморыши, которые при первом же натиске жизни не выдерживают и гибнут. Именно такого рода злополучный фатум над головлевской семьей. В течение нескольких поколений три характеристические черты проходили через историю этого семейства: праздность, непригодность к какому бы то ни было делу и запой. Первые две приводили за собой пустословие, пустомыслие и пустоутробие, последний – являлся как бы обязательным заключением общей жизненной неурядицы. На глазах у Порфирия Владимырьча сгорело несколько жертв этого фатума, а кроме того, предание гласило еще о дедах и прадедах. Все это были озорливые, пустомысленные и никуда непригодные пьянчуги, так что головлевская семья, наверное, захудала бы окончательно, если бы посреди этой пьяной неурядицы случайным метеором не блеснула Арина Петровна. Эта женщина благодаря своей личной энергии довела уровень благосостояния семьи до высшей точки, но и за всем тем ее труд пропал даром, потому что она не только не передала своих качеств никому из детей, а напротив, сама умерла, опутанная со всех сторон праздностью, пустословием и пустоутробием (XIII, 253).¹

Роман Салтыкова-Щедрина предстает как имеющий несомненное отношение к дискурсу, зародившемуся в европейской культуре середины 19-го века, – дискурсу дегенерации. Упадок семьи Головлевых представляется как прогрессирующее, неукротимое вырождение, причины которого видятся в био-детерминистском процессе наследственности. Такие негативные качества, как «праздность, непригодность к какому бы то ни было делу и запой», передаются из поколения в поколение и ведут к неизбежной гибели семьи, в основе которой лежит истощенность духовных и телесных сил

¹ Все цитаты из произведений Салтыкова-Щедрина даны по изданию: Салтыков-Щедрин 1965–1972.

(«пустословие», «пустомыслие», «пустоутробие»). Даже кажущаяся исключением Арина Петровна («метеор»), неспособна повлиять на этот процесс — она сама в конечном счете оказывается жертвой разрушающегося вокруг нее мира. Метафорическое сравнение вырождающейся семьи с больным, умирающим организмом также типично для дискурса дегенерации.

Поскольку Салтыков-Щедрин решительно отвергал поэтику французских натуралистов — первоначальное увлечение² со временем сменилось резкой критикой в их адрес —, возникает вопрос, действительно ли роман *Господа Головлевы* принадлежит к вышеназванному культурно-критическому с биологическим оттенком дискурсу, литературно наиболее ярко выразившемуся в «экспериментальном романе» Эмиля Золя *Ругон-Маккар*. Кульминацией критической позиции русского писателя стало эссе *За рубежом* (1881), хронологически совпавшее с падением популярности Эмиля Золя в России после выхода вызвавшего много споров романа писателя *Нана* (Бушмин 1966, 365–369).

Особой критике со стороны Салтыкова-Щедрина в первую очередь подвергался тот факт, что в центре натуралистской эстетики находится не истинная человеческая сущность, но только физические и половые стороны жизни. Роман *Нана*, по Щедрина, стал «экскрементальной» комедией,³ единственная функция которой заключается в том, чтобы вызвать сильные эмоции у сытой французской публики. Щедрин, как позже и Георг Лукач в известном сочинении *Рассказывать или описывать?* (*Erzählen oder Beschreiben?*; 1987), критикует описательную избыточность авторов-натуралистов, не имеющих необходимого отношения к происходящему в произведении и примитивизирующих описание действительности, в котором нет селекции действия и отсутствует психологизация героев: «Перед читателем проходит бесконечный ряд подробностей, не имеющих ничего общего ни с предметом повествования, ни с его обстановкой, подробностей, ни для чего не нужных, ничего не характеризующих и даже не любопытных сами по себе» (XIV, 155). «Реалист французского пошиба имеет то свойство, что он никогда не знает, что он сейчас напишет, а знает только, что сколько посидит, столько и напишет» (XIV, 158). Передать критическую позицию Салтыкова-Щедрина лучше всего в нарратологических терминах: писатель критикует литературу натурализма, до минимума сокращающую в произведении необходимые операции «смыслоподражающего отбора ситуаций, лиц и действий и их свойств из неисчерпаемого множества элементов и

² В бытность сотрудником *Отечественных записок* в 1875–1876 гг. Салтыков-Щедрин безрезультатно пытался опубликовать работы Эмиля Золя (см. Бушмин 1966). О первоначальном успехе Золя в России см. также Gauthier 1959.

³ Примечательна игра слов «экспериментальный» — «экскрементальный».

качеств событий» (Шмид 2003, 158), позволяя «истории» быть тесно связанным с самим «событием».⁴

Тем не менее, параллели между произведением самого Салтыкова-Щедрина и циклом *Ругон-Маккар* очевидны и были замечены в литературной критике дореволюционного периода. К.К. Арсеньев пишет, к примеру: «Головлевы – это русские Ругон-Маккары (...) превосходно иллюстрирующие закон наследственности» (Арсеньев 1906, 192). По идеологическим причинам эти сходства игнорировались советскими литературоведами, видевшими в творчестве Салтыкова-Щедрина лишь социальную критику. Для них он являлся автором, который хотя и детерминистски понимал проявления распада общества, но рассуждал о них не с биологической точки зрения, а опять же подчеркивал их социальное происхождение.⁵ Роман *Господа Головлевы* был воспринят в критике как история дегенерации одного помещичьего рода. Причины распада виделись в паразитическом образе их существования. Патологическое лицемерие Иудушки, его моральное и духовное разложение прочитывались как закономерная реакция представителя распадающегося класса помещиков на отмену крепостного права, бывшего их экономической основой.⁶ В этом смысле сатирически-типизирующий стиль Салтыкова-Щедрина определялся как золотая середина между выходящим за рамки эмпирически-объективным натурализмом и идеалистическими «эксцессами» Достоевского.⁷ Очевидно, однако, и то, что роман Щедрина и цикл Золя объединены общей тематикой – вырождением семьи, – представленной, и это решающий аргумент, в свете дискурса дегенерации того времени.⁸ Щедрин, конечно, не относится к представителям русского натурализма, как, например, Боборыкин, Эртель или Мамин-Сибиряк. Последние рассуждали в своих произведениях (*Milieuroman*), не упуская ни одной детали, на тему общественных законов, детерминирующих человека. В этом смысле Щедрин далек от свойственных Золя постулатов, касающихся научной «экспериментальной» функции литературы, тенденции искусственного восприятия неэстетичного и дистанцирования от

⁴ О проблематизации дихотомии «описывать vs. рассказывать» в контексте натуралистической литературы см. Baguley 1990, 184–203.

⁵ «Щедрин, не отрицая значения наследственности, последовательно проводил принцип социальной детерминированности внутреннего мира и поведения личности» (Бушмин 1966, 370–371).

⁶ См., например, Бушмин 1959, 171–194. Подобным образом рассуждает и немецкий исследователь Х.-Г. Купфершмидт (Kupferschmidt 1958, 87–92).

⁷ «Щедринские методы передачи человеческой психологии были направлены не только против психологизма эмпирического и натуралистического, но и против психологизма идеалистического, тенденции которого резко проявлялись в творчестве Ф.М. Достоевского» (Эльсберг 1940, 296).

⁸ О вырождении семьи в натуралистической литературе, в частности – в произведениях Золя см. Schideler 1999, White 1999.

любой функционализации искусства.⁹ Парадокс, как ни странно, заключается в том, что Щедрин, не будучи натуралистом, создал самый последовательный и яркий образ, а также, представил наиболее радикальную картину био-детерминистского вырождения семьи. В его романе дегенерация вседуща, она охватывает все и вся. Она калечит людей, вещи, время и пространство.

II.

Дискурс дегенерации 19-ого века, к которому относится самый известный роман Салтыкова-Щедрина, разворачивается в первую очередь в области психопатологии, занимавшейся исследованием индивидуальных отклонений (кретинизм, сумасшествие, онанизм, склонность к преступлениям) и фокусировавшей внимание на отдельном индивиде, институте семьи и обществе в целом. Вырождение становится синонимом патологии, понятием, подразумевающим различного рода отклонения – сумасшествие, криминальность, алкоголизм, проституцию, сексуальные извращения, кретинизм, истерию. Основой всех этих патологических явлений отныне называется болезненная наследственность.¹⁰

Революционным в теории дегенерации стал труд Б.А. Мореля *Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine* (1857), определивший вырождение как болезненное наследуемое отклонение от психофизической нормы, ведущее в конечном счете к гибели семьи или целой социальной группы. По мнению Мореля, причиной дегенерации являются следующие факторы: алкогольное или наркотическое отравление, социальная атмосфера, болезненный темперамент, аморальность, врожденные телесные патологии или приобретенные увечья, наследственность. Последняя имеет для Мореля несравнимо более важное значение, чем внешние факторы. Новый болезненный вид, своего рода «подвид» человека – дегенерат – угрожает европейской культуре как вирус. Из-за своей патологической наследственности он изначально обречен на гибель. Закон прогрессивности Мореля гласит, что любой болезненный признак определяет начало целого ряда патологий, увеличивающихся из поколения в поколение и ведущих в конечном счете к бесплодию.¹¹

⁹ О теории и практике русского натуралистического романа на примере П.Д. Боборыкина см. Blalock 1990.

¹⁰ Из многочисленных исследований по этой проблематике см. Chamberlin/Gilman 1985; Pick 1989; Greenslade 1994; Hurley 1996; Childs 2001.

¹¹ Проблема наследственности психических заболеваний занимала в 18 веке одно из первых мест во французской психиатрии. В 1857 году, когда появилась книга Мореля, термин *dégénérescence* уже употреблялся в литературе по психиатрии, медицине и

Был разработан целый ряд критериев, необходимых для определения дегенерации и борьбы с ней, в числе которых решающую роль играли так называемые «стигматы»: Телесными стигматами считались уродство, телесные патологии, недоразвитость (в первую очередь – асимметричность лицевой части и черепа), несовершенное развитие ушных раковин, косоглазие, неровные зубы, сросшиеся пальцы, шестипалость и т. д. В ряду психических стигматов (имевших для Салтыкова-Щедрина более важное значение, чем физические) назывались неосознание понятий нравственности и закона (по Дж. Причарду «moral insanity, нравственное помешательство»), крайняя эмоциональная раздражительность, состояние душевного бессилия и удрученности, подавленность, отказ от какой-либо деятельности, склонность к пустым мечтаньям. Последнюю характеристику – «склонность к бесплодной мечтательности» –, игравшую важную роль в романе Салтыкова-Щедрина, описывает Макс Нордау, ссылаясь на многочисленные психиатрические исследования на эту тему:

Психопат не в состоянии долго сосредоточить внимание на одном предмете, верно понять и упорядочить свои впечатления и выработать из них ясные представления и суждения. Ему гораздо легче лелеять в своих мозговых центрах неясные, как в тумане расплывающиеся картины, едва созревшие зачатки мысли и предаваться постоянному опьянению неопределенными, бесцельными представлениями (Нордау 1995, 36).

Мономания, увлечение мистикой и религиозная одержимость, преувеличенная набожность также считаются отклонением от нормы. В целом речь идет о критериях различения нормы и патологии – человеческого вида и его дегенеративного подвида. Попытка научно-статистического обоснования этих критериев с помощью данных, полученных во время эмпирических исследований, не увенчалась успехом: все свелось в конце концов просто к «вере» в дегенерацию. Выявление невидимой опасности – угрозы дегенерации – было равносильно сизифову труду.

В XIX веке проблемы дегенерации были предметом исследований не только психопатологов.¹² Изучение тех же вопросов сыграло важную роль

биологии. К предшественникам Мореля относятся, например, Пропер Лукас (*Traité philosophique et physiologique de l'Hérédité*; 1847-1850), на которого Золя часто ссылается в своих произведениях.

¹² После Мореля проблема дегенерации продолжает играть главную роль в психопатологии 19-го века. Например, В. Маньян (V. Magnan), Х. Шюле (H. Schüle), Р. фон Крафт-Эбинг (R. v. Krafft-Ebing), Э. Крепелин (E. Kraepelin). Акценты в определении причин дегенерации, однако, все больше смещаются. Болезни, – особенно те, которые передаются половым путем, – получили, наряду с ядовитыми веществами (в частности – алкоголем), особое значение. Условия жизни людей в цивилизованном обществе стали также играть немаловажную роль. Таковы борьба за выживание, как причина измождения, одностороннее развитие определенных духовных характеристик, «незабота» о

в развитии теории эволюции,¹³ социологии («темная сторона» прогресса),¹⁴ криминальной антропологии¹⁵ и культурной критике («вырождение» М. Нордау). Первые русские работы по психиатрии, посвященные проблеме дегенерации появились лишь в 1880-х годах. Необходимо упомянуть имена П.И. Ковалевского, профессора Харьковского университета, автора одной из первых на русском языке работ по психопатологии (*Основы механизма душевной деятельности*, 1885), С.С. Корсакова, Н.Н. Баженова, В.Ф. Чижа.¹⁶ Можно поэтому предположить, что для Салтыкова-Щедрина одним из мотивов написания романа в 1875–1876 гг. и концептуализации вырождения послужил не столько сам медицинский дискурс, сколько французский натурализм, становящийся популярным в России уже в 1875–1880 годах, и в частности – публикация в «Вестнике Европы» *Парижских писем* Э. Золя. Литературизация дискурса вырождения, его популяризованная и вульгаризованная форма явились для Салтыкова-Щедрина основным источником сведений о концепциях дегенерации. Перенесенная из жанра документального *milieu roman* в жанр сатиры и гротеска, идея дегенерации предстает в стилистически преломленном виде. В результате подобной трансформации репрезентация феноменов дегенерации приобретает более интенсивное качество, черты безнадежного застоя и фатальной безысходности. Как пространство развития и адаптации культурных концепций, русская литература играет и в данном случае доминирующую роль.

собственном теле, ослабление природных инстинктов (например, забота о продолжении рода), являющиеся причиной самоубийств и онанизма. См. Leibbrand/Wettley 1961, 519–545. О роли теории дегенерации применительно к сексуальной патологии см. Gilman 1985, 191–216.

¹³ О проблемах дегенерации и монструозности в теории Дарвина см. Oldenburg 1996. Эволюционная теория Дарвина в сочетании с теорией вырождения являются основой евгеники, основателем которой считается Ф. Гальтон. («Hereditary Talent and Character», 1865). Отталкиваясь от гипотезы о том, что естественный отбор является залогом прогрессивного развития, представители евгеники полагают, что перерыв в естественном отборе способствует дегенерации. Поэтому необходим искусственный отбор. О евгенике см. Weingart/Kroll/Bayertz 1988.

¹⁴ Теория дегенерации может дать ответ на вопрос, почему эпоха столь неудержимого прогресса (Конг, Спенсер) повлекла за собой так много физических, психических и социальных патологических явлений. Дегенерация понимается, с одной стороны, как рецидив примитивного общественного устройства, исчезающего в процессе прогрессивного развития, а с другой – как следствие индустриализации и урбанизации, т.е. – ошибка в процессе цивилизации. В обоих случаях дегенерация является обратной стороной прогресса.

¹⁵ См. Ч. Ломброзо и его понятие «прирожденного преступника» (Нус 1984).

¹⁶ См. Иудин 1951, Brown 1981, Sirotkina 2002, Богданов 2004. По мнению И. Сироткиной, вырождение считалось русскими психиатрами скорее социальным феноменом, нежели биологическим. (Сироткина 2000).

III.

Господа Головлевы необходимо воспринимать скорее как сатирически-гротескную пародию на семейный роман, нежели как социально-критическую новеллу (Kramer 1970). Количество конфликтных ситуаций сведено до минимума. В повествовании, выстроенном ритмически, а не драматически, нет места и социальным межклассовым неурядицам (Ehre 1977, 5). Отдельные главы целиком посвящены описанию портретов членов семьи, на каждом из которых лежит одна и та же печать вырождения и неизбежной смерти. Ритмическое повторение одного и того же заменяет основу повествования и заканчивается лишь с гибелью последнего члена семьи. Этим усиливается чувство неизбежного вырождения, его фатальный характер.

Психическое, физическое и моральное вырождение семьи Головлевых происходит на протяжении жизни трех поколений. Прогрессирующая деградация, ведущая к вымиранию рода, очевидна: к первому поколению принадлежат Арина Петровна и ее муж Владимир Михайлович. Им еще удастся достичь преклонного возраста. Второе поколение – их сыновья Степан («Степка-балбес»), Порфирий («Иудушка», «кровопивушка») и Павел – умирает в самом расцвете сил. Третье поколение – детей Порфирия и его племянницу Аняньку – вырождение настигло уже в юном возрасте.

Действие романа происходит в Головлево и в других семейных поместьях – Дубровино и Погорелка. О событиях, касающихся членов семьи, но происходящих за пределами этого маленького мирка, рассказывается исключительно в Головлево. Поместье представляется гробом, местом неизбежного возвращения всех, кто пытался тщетно переиграть судьбу. Так, например, Степка-балбес по возвращении, стоя перед домом все время повторяет: «Гроб, гроб, гроб!» (XII, 30), при этом «ему кажется, что перед ним растворяются двери сырого подвала, что, как только он перешагнет за порог этих дверей, так они сейчас захлопнутся, – и тогда все кончено» (XIII, 29). Непреодолимость их участи, предсказуемость будущего не раз подчеркивается самими героями романа. Так, они с точностью могут предсказать события, которые должны произойти. По дороге в Головлево Степан уже заранее знает, что «Эта старуха заест его, заест не мучительством, а забвением» (XIII, 29). Незадолго до кончины Павла, Арина Петровна в деталях представляет себе похороны, роль и слова Порфирия, обращенные к священнику: «Все эти неизбежные сцены будущего так и метались перед глазами Арины Петровны» (XIII, 73).

В нарисованной Щедриным истории дегенерации Арина Петровна и Иудушка – основные герои. Кажется, что Порфирий перверсивно пародирует манеру своей матери и ее властолюбие. Арина Петровна деспотично управляла имением, позиция ее сына является пустой карикатурой, он

компенсирует бессилие, представляя себя всемогущим в своих фантазиях. (Ehre 1977, 6–7). Очевидно персонифицируя лицемерие, Иудушка выказывает также и другие стигматы вырождения: крайняя степень мистицизма, на самом деле являющимся скорее святошеством, чем набожностью: он очень хорошо держится, когда молится, но делает это только потому, что боится дьявола. Его патологический эгоизм граничит с мегаломанией: обращаясь к своему умирающему брату Павлу, он подражает Иисусу: «Ну, брат, вставай! Бог милости прислал! [...] Встань да и побег!» (XIII, 77); в пересказе его разговора с попом мегаломия Порфирия выражается вновь в библийских терминах: «Он [Иудушка] намеднись недаром с попом поговорил: а что, говорит, батюшка, если бы вавилонскую башню выстроить – много на это денег потребуется?» (XIII, 83).

Иудушку характеризует отсутствие сознания моральных законов, т.е. синдром «нравственного помешательства»: «(...) человек, лишенный всякого нравственного мерила» (XIII, 101); «полная свобода от каких-либо нравственных ограничений» (XIII, 104). Постепенная потеря связи с реальностью, пониженная способность к концентрации, бегство в бескрайний мир фантазий усугубляют его патологию:

Мысль его до того привыкла перескакивать от одного фантастического предмета к другому, нигде не встречая затруднений, что самый простой факт обыденной действительности заставлял его врасплох. Едва начинал он «сообразжать», как целая масса пустяков обступала его со всех сторон и закрывала для мысли всякий просвет на действительную жизнь. Леня какая-то обуяла его, общая умственная и нравственная анемия. Так и тянуло его прочь от действительной жизни на мягкое ложе призраков, которые он мог переставлять с места на место, один пропускать, другие выдвигать, словом, распорядиться, как ему хочется (XIII, 209).

Неограниченная власть над выдуманными образами делает Порфирия хозяином его собственного фантастического мира – мира с бесконечным количеством составляющих его комбинаций.

Отношения между детьми и родителями в романе «извращены». Мать, обращается в людоеда, пожирающего собственных детей. «Что, голубчик! Попался к ведьме в лапы! [...] съест, съест, съест!» (XIII, 31) – говорит отец своему сыну Степану. Возвращения последнего в Головлево напоминает библийскую сцену, – ассоциация, немаловажная для всего повествования, – в ее извращенном варианте, так как, вопреки библийскому тексту, «блудный сын» отвергается матерью, что в конечном итоге ведет его к гибели (Kramer 1970, 458). Замечательно также, что дети Арины Петровны не достигли определенной зрелости и остаются инфантильными как в своих собственных глазах, так и в восприятии родителей. Размышляя о будущем

Степана, Арина Петровна решает отправить его в закрытое воспитательное учреждение: «Да ведь смирительный дом – ну, как ты его туда, экого сорокалетнего жеребца, приведешь?» (XIII, 21). На семейном суде Павел слушает мать подобно ребенку, слушающему сказку: «Арина Петровна много раз уже рассказывала детям эпопею своих первых шагов на арене благоприобретения, но, повидимому, она и доднесь не утратила в их глазах интереса новизны. [...] Павел Владимырьч даже большие глаза раскрыл, словно ребенок, которому рассказывают знакомую, но никогда не надоедающую сказку» (XIII, 39). Перверсия обычных внутрисемейных взаимоотношений достигает своего апогея в забывщи, разрушающим все связи: Родители забывают о существовании детей. Так, Арина Петровна напрочь забыла, что в одной из комнат дома доживает свои последние дни ее сын Степан: «Она совсем потеряла из виду, что подле нее, в конторе, живет существо, связанное с ней кровными узами, существо, которое, быть может, изнывает в тоске по жизни» (XIII, 50). Порфирий имеет к своему сыну Пете лишь косвенное отношение: «Взаимные отношения отца и сына были таковы, что их нельзя было даже назвать натянутыми: совсем как бы ничего не существовало. Иудушка знал, что есть человек, значащийся по документам его сыном» (XIII, 116).

Радикализация процесса вырождения в романе достигается с помощью приема повторения, однообразного воспроизведения процесса дегенерации. Вырождение у отдельных членов семьи Головлевых протекает одинаково. Кажется, что все определено биологически, нет и следа индивидуальности. Заключительная фаза дегенерации начинается с вынужденной или даже желаемой изоляции, контакт с другими людям больше не поддерживается. Внешне это проявляется в сужении жизненного пространства: отдельные комнаты в домах закрываются, а те, что еще обитаемы находятся в состоянии абсолютной запущенности. Взгляд из окна, бессмысленно и оцепенело направленный в пустоту и характеризующий последние дни Головлевых, не предполагает расширения пространства, так как описание сосредотачивается на темных осенних, давящих тучах:

Безвыходно сидел он [Степка] у окна в своей комнате и сквозь двойные рамы смотрел на крестьянский поселок, утонувший в грязи. [...] серое, вечно слезящееся небо осени давило его. Казалось, что оно висит непосредственно над его головой и грозит утопить его в развернувшихся хлябях земли. У него не было другого дела, как смотреть в окно и следить за грузными массами облоков (XIII, 47).

Клаустрофобическому сужению пространства корреспондирует модификация времени, теряющего привычные координаты. Время перестает быть прогрессивным, превращаясь в бесформенное, неопределенное, неделимое пространство: «Среди этой тусклой обстановки дни проходили за днями,

один как другой, без всяких перемен, без всякой надежды на вторжение свежей струи» (XIII, 106). «Потянулся ряд вялых, безобразных дней, один за другим утопающих в серой, зияющей бездне времени» (XIII, 31).

Одновременно с этим расширяется пространство неумолимого, безбрежного проектирования фантазмогорий, бесповоротно теряющих какую-либо связь с реальностью. Фантастическая гипертрофия принимает например у Порфирия форму экстаза и целиком заменяет умственную активность. Порфирий выстраивает свою собственную фантастическую реальность, частично состоящую из цифровых фантазмогорий:

Запершись в кабинете и засевши за письменный стол, он с утра до вечера изнывал над фантастической работой: строил всевозможные несбыточные предположения, учитывал самого себя, разговаривал с воображаемыми собеседниками и создавал целые сцены, в которых первая случайно взбредшая на ум личность являлась действующим лицом (XIII, 215).

Это был своего рода экстаз, ясновидение, нечто подобное тому, что происходит на спиритических сеансах (XIII, 217).

Мало-помалу начинается целая оргия цифр. Весь мир застилается в глазах Иудушки словно дымкой; с лихорадочною торопливостью переходит он от счетов к бумаге, от бумаги к счетам. Цифры растут, растут... (XIII, 228).

Алкоголизм характеризует собой последнюю ступень вырождения Головлевых, являясь следствием, а не причиной, как считало большинство теоретиков, процесса дегенерации. Степан, Павел, Порфирий и его племянница Аннинка проживают свои последние дни в как в дурмане:

Впереди у него [Степана] был только один ресурс, которого он покуда еще боялся, но который с неудержимой силой тянул его к себе. Этот ресурс – напиться и позабыть (XIII, 48).

К довершению всего Арина Петровна сделала ужасное открытие: Павел Владимырьч пил. Страсть эта въелась в него крадучись, благодаря деревенскому одиночеству, и, наконец, получила то страстное развитие, которое должно было привести к неизбежному концу (XIII, 64).

Состояние безвременности, монотонность повторения одного и того же образа вырождающейся личности – вот основные характеристики репрезентации вырождения в романе Салтыкова-Щедрина. Кажется даже, что Головлевых можно подменить между собой: например, во время разговора между Иудушкой и Петей у Арины Петровны создается впечатление, что

Петя воссоздает собой образ ее сына Степана: «Перед глазами ее что-то вдруг пронеслось, словно тень Степки-балбеса» (XIII, 131).

Кроме этого, в романе наблюдается ломка временного поступательного развития, с помощью перестановки эпизодов. Тем самым создается впечатление, как будто действие происходит вне времени. Этот факт, однако, не противоречит закону прогрессирующего вырождения, напротив, он усиливает представление о вырождении, его безвыходность и безнадежность. Последнее достигается также описанием регрессивных процессов. Как известно, регресс – одна из возможных форм дегенерации, которую Ч. Ломброзо называет «атавизмом». Иудушка Салтыкова-Щедрина регрессирует до состояния инфантилизма: его речь переполнена деминутивами – уменьшительно-ласкательными формами. Его смерть на могиле матери является последней стадией инфантильности, символизируя своего рода возвращение в материнское лоно. Вырождение семьи Головулевых предстает циклическим процессом, завершающимся при своем начале – в биологическом зачатии.

Перевод с нем. Татьяны Ластовкой

Л и т е р а т у р а

- Арсеньев К.К. 1906. *Салтыков-Щедрин*. СПб.
- Богданов К.А. 2004. *Врачи, пациенты, читатели. Патографические тексты русской культуры XVIII-XIX века*. М.
- Бушмин А.С. 1959. *Сатира Салтыкова-Щедрина*. М./Л.
- Бушмин А.С. 1966. «Из истории взаимоотношений М.Е. Салтыкова-Щедрина и Эмиля Золя», *Русско-европейские литературные связи. Сборник статей к 70-летию со дня рождения М.П. Алексеева*. М.-Л., 360-371.
- Иудин Т.И. 1951. *Очерки истории отечественной психиатрии*. М.
- Нордау М. 1995. *Вырождение. Современные французы*. М.
- Салтыков-Щедрин М.Е. 1965-1972. *Собрание сочинений в 20-ти томах*. М.
- Сироткина И.Е. 2000. *Психопатология и политика: становление идей и практики психогигиены в России*. Цит. по электронной версии: www.vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/VIET/SIROTK.HTM
- Шмид В. 2003. *Нарратология*. М.
- Эльсберг Я. 1940. *Стиль Щедрина*. М.
- Baguley D. 1990. *Naturalist Fiction. The Entropic Vision*. Cambridge.
- Blanck K. 1990. *P.D. Boborykin. Studien zur Theorie und Praxis des naturalistischen Romans in Russland*. Wiesbaden.
- Brown J.V. 1981. *The Professionalisation of Russian Psychiatry: 1857-1911*. PhD. University of Pennsylvania.

- Chamberlin J.E., Gilman S.L. (ed.) 1985. *Degeneration. The Dark Side of Progress*. New York.
- Childs D.J. 2001. *Modernism and Eugenic. Woolf, Eliot, Yeats, and the Culture of Degeneration*. Cambridge.
- Ehre M. 1977. «A Classical of Russian Realism: Form and Meaning in 'The Golovlyov's'», *Studies in the Novel*, 9, 3-16.
- Gauthier E.P. 1959. «Zola's Literary Reputation in Russia prior to 'L'Assommoir'», *The French Review*, XXXIII, October, 37-44.
- Gilman S.L. 1985. *Difference and Pathology. Stereotypes of Sexuality, Race, and Madness*. Ithaca/London.
- Greenslade W. 1994. *Degeneration, Culture and the Novel 1880-1940*. Cambridge.
- Hurley K. 1996. *The Gothic Body. Sexuality, Materialism, and Degeneration at the fin de siècle*. Cambridge.
- Kramer K.D. 1970. «Satiric Form in Saltykov's 'Gospoda Golovlevy'», *SEEJ*, 14, 4, 453-464.
- Kupferschmidt H.-G. 1958. *Saltykow-Stschedrin. Philosophisches Wollen und schriftstellerische Tat*. Halle (Saale).
- Leibbrand W., Wettley A. 1961. *Der Wahnsinn. Geschichte der abendländischen Psychopathologie*. Freiburg/München.
- Lukács G. 1987. «Erzählen oder Beschreiben? Zur Diskussion über Naturalismus und Formalismus», *Begriffsbestimmung des literarischen Realismus*, hrsg. von R. Brinkmann. Darmstadt, 33-85.
- Nye R.A. 1984. *Crime, Madness, and Politics in Modern France. The Medical Concept of National Decline*. Princeton.
- Oldenburg V. 1996. *Der Mensch und das Monströse. Zu Vorstellungsbildern in Anthropologie und Medizin in Darwins Umfeld*. Essen.
- Pick D. 1989. *Faces of Degeneration. A European Disorder, c. 1848-c. 1918*. Cambridge.
- Shideler R. 1999. *Questioning the Father. From Darwin to Zola, Ibsen, Strindberg, and Hardy*. Stanford.
- Sirotkina I. 2002. *Diagnosing Literary Genius. A Cultural History of Psychiatry in Russia, 1880-1930*. Baltimore/London.
- White N. 1999. *The Family in Crisis in Late Nineteenth-Century French Fiction*. Cambridge.
- Weingart P., Kroll J., Bayertz K. 1988. *Rasse, Blut und Gene. Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland*. Frankfurt/Main.